



Антон КРАЙНИЙ <З. Н. ГИППИУС>

Литературное «сегодня»

Со времени, когда время точно изменило свой ход и потекло с бурной скоростью, т.е. с начала войны, литература наша (и литераторы) пережила несколько стадий.

Взрыв первого «патриотизма» объединил всех. Толкнул и писателей на воинственные клики, на «гром победы». Так понятно по человечеству, однако ни из первого «грома», ни из последующих, более умеренных «фронтовых» писательских попыток, никакой литературы не вышло. Серьезный поэт, редактируя будущее собрание своих сочинений, вряд ли включит туда свои «военные» стихи.

Отчего же так не удалась наша военная литература? Причин сколько угодно, самых объективных, от писателей независящих. Но есть одна очень характерная, — на ней я и остановлюсь.

Дело в том, что современные писатели, особенно молодые, особенно поэты (громадное большинство из них) — вовсе не люди. Сохрани меня, Боже, сказать что-нибудь дурное. Конечно, конечно, всякий из них человек. Но когда он человек — он не поэт, а когда он поэт — не человек. Между искусством и жизнью легла разделяющая линия.

Взметнувшийся вал истории вдруг захватил всех: все писатели сделались «людьми». Но... поэтический дар тотчас же покинул их. Человеческие дела делал каждый, — кто их делал, — прекрасно, а поэтические оказались... не поэтичны. Не уничтожишь так, сразу, глубокую межу, отделяющую человека от поэта. Не со вчерашнего дня она вырыта.

То, что случилось дальше, было только последовательно. Писатели мало-помалу вернулись к литературе. Не только забыли напряженный «гром победы» первых времен; не только отошли

от чисто военных, фронтовых, тем: они отступили за свою черту, возвратились в то самое чистое поле литературы, где гуляли все последние годы, — до 14-го. Сделались опять литераторами, точь-в-точь такими, как прежде... прекрасными литераторами — не людьми.

В чистом поле искусства за время их отсутствия ничего не произошло. В этом поле, когда оно чистое, никогда ничего не происходит.

И все повернулось на прежний лад.

Книг издается сколько угодно. Особенно много небольших, изящных сборников, принадлежащих молодым поэтам. Вот, сейчас у меня на столе 8—9—12 книжек. Изданы с большим вкусом (и где бумагу такую достают!), стихи почти все хорошие, есть и прекрасные. И все — под знаком «Вечности и Красоты» — исключительно. Хороший знак! Но ведь я сейчас говорю с особой точки зрения. Трудно примириться в иные времена с обособленностью литературы. С «или-или» современного писателя: или он человек (и в этот час уже не поэт), или поэт (но не человек).

Недавно кто-то перечислял ярлыки наших общих группировок: «побединцы», «оборонцы», «пораженцы», «неуспеховцы» и «наплеванцы». Было бы неточно и грубо назвать всю литературу нашу «наплеванческой». Однако, если к чему она ближе, так именно к «наплеванству». И не на войну — наплеванство, — на жизнь.

Простое молчание о войне, как таковой, отсутствие чисто фронтовых тем, — это была бы только радость. Ведь, в самом деле, современную пулеметно-газово-шрапнельную войну в поэзию все равно превратить нельзя. Ни теперь, ни потом, когда она отойдет в историю. Но разве только одна война? Только там, на настоящем, западном или южном фронте? Разве не кипит войною всякая струйка всякой, теперешней жизни? Разве остались теми же для человеческого взора и небо, и облака — не говоря о земле?

Сам воздух, которым мы дышим, и тот изменен. И надо особенно исхитриться, чтобы писать... не то, что не о войне, но без малейшего отражения ее на том, что пишешь.

Скажут, это издавна:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

Мало ли что издавна. Бывают дни, когда рушатся старые жертвенники. И жертвы прекращаются, — негде их приносить.

В эти дни — все равны, все, так или иначе, в борьбе, — в жизни. Будут новые жертвенники; но их создадут не те, кто из борьбы уходит, ищет уцелевшего прежнего камешка, чтобы зажечь на нем прежний огонек.

А именно так поступает большинство наших лучших писателей, и старых, и молодых: стараются зажечь довоенный огонек, делают вид, что их «Аполлон требует»... Не требует: Аполлон убежал, закрыв лицо, едва стал разрушаться его жертвенник. Убежал — и будет скрываться до времени, которое еще не пришло.

По справедливости следует вспомнить, однако, что были у нас около литературы «писатели», которые Аполлону жертв не приносили и сейчас «пеньем на прежний лад» не занимаются. Я говорю о «футуристах». Чем же они занимаются? Кто они?

Футуризм откровенно умер, — так заявил его главный представитель, Маяковский (единственный талантливый). Умер, кончился, — исполнился: футуризм — это и была будущая война; когда она из будущего перешла в настоящее, то и футуризм потерял свой *raison d'être* *. Дело естественное; лишнее доказательство, что наш футуризм просто был переводом с итальянского. Но Маяковский настаивает, захлебываясь, на пояснениях, в 1 номере журнала «Взля» (второй — не вышел): «...ни единого благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели, как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось дьявольской интуицией, воплощенной в бурном сегодня. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого». (Знаки препинания по Маяковскому.) Далее: «футуризм умер, как особенная группа, но во всех он разлит наводнением. Сегодня все футуристы. Народ футурист».

К тому главному положению, что футуризм умер, как футуризм, найдя свою настоящую плоть, и что эта плоть — война, пояснения Маяковского ничего не прибавляют. Но они оправдывают нашу прежнюю интуитивную ненависть к футуризму, отрицание принципа этого футуризма. Три четверти мира (больше) относилось и продолжает относиться отрицательно к войне, к самому ее принципу. В этом отрицании залог всего нашего будущего: истинного *futur'a* **. Что же такое ликующие клики Маяковского о всемирном разлитии футуризма, — «все футури-

* смысл, разумное основание (*фр.*). — *Ред.*

** будущее (*лат.*). — *Ред.*

сты. Народ футурист»? В лучшем случае — ребячество. Нисколько не «наводнен мир» военно-футуристическим упоением. Если «наводнена» некая малая часть мира, то разве только Германия (с придачей футуристов). Но и германский народ, как «народ», трудно, страшно осудить навеки, объявив его «народом-футуристом»; говорить ли о каком-нибудь другом? Англия, что ли, Франция или мы жили войной и теперь принимаем ее как «исполнение мечтаний».

Но даже и в Германии, если и живут войной, — не говорят этого (стыдятся). Даже там делают вид, что «принуждены были к войне», что «любят мир» и т. д. Одни итальянские футуристы 12—13-го года заорали про войну, да вот теперь наши переимщики открыто ликуют, — «воплонилось желанное»!

Приходится иной раз по совести назвать германцев — варварами; тем более пристало это грустное имя к футуристам. Правда, они и не воюют, и войны не делают, а все это одни слова; но варвары безответственные лучше ли ответственных?

Таким образом, литература нашего дня или не имеет никакого отношения к внешнему миру, или (если мы включим в нее кучку футуристов) имеет отношение варварское.

Конечно, первое (никакое) лучше, и слава Богу, что иноземный «футуристический» росток у нас скверно принялся, так скоро завял. А что касается отделенности нашей художественной литературы от жизни, узости ее горизонта и отсутствия у писателей общего мирозерцанья, то ведь это не с войны и началось. Давно уже свернули писатели на тропинку чистого «описательства». Достигали тут великолепных результатов, и... получилось разделение, особенно тяжелое в тяжелые дни истории.

«Хорошо пишет, да сказать ему нечего», — так определялись, в критике и в читательской среде, очень многие из наших художников. Новые, молодые, — в большинстве того же типа. Нет более «властителей дум», ибо к «думам»-то они как раз отношения не имеют. Изысканный стиль, тонкая эстетика «описательства» не делают их даже «властителями чувств»: бездумные чувства не живучи, восприятие быстро притупляется. Голая эстетика ненадолго действительна.

Как это кончится — не знаю. Но знаю, кончится. Не смотрю вперед с безнадежностью. Кипит борьба, меняется жизнь. Кто вовремя это заметит, обернется к жизни, будет участвовать в ее сдвиге — те и войдут, как творцы, в обновленную литературу. До сих пор обновлялась она лишь извне, частично, словесно.

Старое вино переливали в новые мехи; так долго переливали, что и вина почти не осталось. Сжались мехи раньше времени и пришли в негодность.

Теперь все миновало. Бродит новое вино, будут для него новые мехи; и никто уже, «попробовав нового», не скажет: «старое лучше».

